

Часть первая

Он пришел домой. Было уже десять часов. По четвергам его книжный магазин закрывался позже обычного, в девять, и он, опустив в половине десятого решетки на окнах и входной двери, пошел через парк. Этот маршрут был длиннее, но после долгого рабочего дня ему хотелось немного пройтись и подышать свежим воздухом. В запущенном, одичавшем парке клумбы с розами заросли плющом, живую изгородь из бирючины давно никто не подстригал. Зато здесь всегда так хорошо пахло: рододендронам или сиренью, липой или китайским ясенем, скошенной травой или сырой землей. Он ходил этой дорогой и зимой и летом, в хорошую и в плохую погоду. Пока он шел, все заботы и огорчения словно улетучивались, растворяясь в воздухе.

Он жил со своей женой в бельэтаже многоквартирного дома в стиле модерн, купленного пару десятилетий назад по смешной цене, которая за прошедшие годы выросла в несколько раз, так что теперь этот дом стал их надежной финансовой подушкой на старость. Широкая лестница, изогнутые перила, лепнина, обнаженная красавица, осеняющая своими

длинными волосами каждый пролет, — он всегда с удовольствием входил в подъезд, поднимался по лестнице и открывал дверь с маленьким витражом в виде цветочных орнаментов. Даже когда знал, что ничего хорошего его за этой дверью не ждет.

В прихожей на полу лежало пальто Биргит, рядом — два небрежно брошенных полиэтиленовых пакета с продуктами. Дверь в гостиную была открыта. Ноутбук Биргит сполз с дивана на пол вместе с пледом, которым она любила укрываться. Рядом с бутылкой лежал опрокинутый бокал, на ковре темнела лужица вина. Одна туфля лежала на пороге, другая у кафельной печки. Видимо, Биргит по привычке раздраженно сбросила их на ходу.

Он повесил пальто в шкаф, поставил ботинки у комода и прошел в гостиную. Только теперь он заметил, что опрокинута и ваза с тюльпанами; осколки стекла и завядшие цветы лежали в луже рядом с роялем. Он прошел в кухню. Перед микроволновкой валялась пустая упаковка от риса с курицей, а в раковине стояла тарелка Биргит с недоеденным рисом и грязная посуда, оставшаяся от их совместного завтрака. Опять ему все это мыть, убирать осколки, вытирать лужи.

Он почувствовал, как в нем медленно поднимается холодная злость. Но это была усталая злость. Он слишком часто испытывал эти приливы и отливы гнева. Да и что он мог сделать? Утром, когда он выразит Биргит свое возмущение, она пристыженно и в то же время упрямо посмотрит на него, отвернется и потребует, чтобы ее оставили в покое, мол, она

выпила чуть-чуть; что, ей уже и выпить нельзя? И это ее дело, сколько пить, а если ему не нравится, что она пьет, его никто не держит — скатертью дорога. Или разрыдается и начнет сама себя осуждать и унижать, пока он не успокоит ее, не скажет, что любит ее, что она хорошая, что все хорошо.

Есть ему не хотелось. Он разогрел в микроволновке оставшийся рис и съел его за кухонным столом. Потом положил купленные продукты в холодильник, отнес бутылку и бокал в кухню, убрал осколки и цветы, побрызгал лимонным соком на винное пятно на ковре, закрыл ноутбук, сложил плед и вымыл посуду. К кухне примыкала маленькая комната — бывшая кладовая, переоборудованная в прачечную. Он вынул из стиральной машины белье и сунул его в сушилку, а содержимое корзины для грязного белья — в стиральную машину. Потом вскипятил воду и, заварив чай, сел за кухонный стол.

Этот вечер не был чем-то из ряда вон выходящим. Иногда Биргит приступала к возлияниям раньше, еще днем, и тогда двумя брошенными на пол пакетами с продуктами, опрокинутым бокалом и разбитой вазой дело не ограничивалось. А когда Биргит выпивала первый бокал перед самым его приходом, она встречала его веселой, разговорчивой, ласковой, а если это был бокал не просто вина, а шампанского, в ней появлялась какая-то трогательная живость, наполнявшая его грудь тихой радостью и тоской, как все хорошее, о котором мы знаем, что это всего лишь иллюзия. В такие вечера они обычно ложились спать вместе. В остальные дни она чаще всего уже была

в постели. А иногда лежала на диване или на полу, и он относил ее в спальню.

Уложив ее в постель, он еще некоторое время сидел на пуфе рядом с кроватью перед туалетным столиком и смотрел на нее. На ее морщинистое лицо, дряблую кожу, на волоски в носу, на капельки слюны в уголках рта, на потрескавшиеся губы. Время от времени ее веки или руки подрагивали, она бормотала какие-то несвязные слова, лишённые смысла, стонала или вздыхала. Иногда тихонько похрапывала, и от этого храпа или сопения ему не сразу удавалось заснуть, когда он через какое-то время тоже ложился в постель.

Неприятен был ему и ее запах. От нее пахло алкоголем и больным желудком, и этот острый запах напоминал ему нафталин, который клала в шкафы его бабка. Когда ее рвало в кровати, что, к счастью, случалось редко, он широко раскрывал окно и, пока обтирал ее салфетками и убирал рвоту, задерживал дыхание, периодически набирая в легкие воздух перед окном.

Но эти несколько минут на пуфе были неизменным ритуалом. Он смотрел на нее и видел сквозь это выцветшее и потухшее лицо его прообраз, лицо прежних счастливых дней, которое было таким разным, в зависимости от настроения, которое иногда поражало его, но всегда — даже будучи заспанным, усталым или мрачным — дышало жизнью. Каким безжизненным становился ее взгляд, когда она была пьяна! Иногда в ее сегодняшнем лице вспыхивали, как зарницы, эти прежние лица — решительное лицо студентки в синей рубаше, лицо молодой продав-

щицы книжного магазина, осторожное, сдержанное, часто исполненное тайны и волшебства; лицо, когда она начала писать, — сосредоточенное, словно она каждую минуту обдумывает замысел своего романа или просто не может избавиться от мыслей о нем; ее розовое лицо, когда она, уже в возрасте, открыла для себя езду на велосипеде и возвращалась домой после часовых или даже двухчасовых поездок по городу или окрестностям.

У нее было состарившееся лицо. Она состарилась. Но это было лицо, которое он любил. С которым ему хотелось говорить. Эти теплые карие глаза грели ему сердце, а веселые искры в них заставляли его смеяться. Это было лицо, которое он любил брать в ладони и целовать, которое трогало его душу. Она трогала его душу. Ее поиски своего места в жизни, туман загадочности, которым она окутывала свое творчество, ее мечты о запоздалом литературном успехе, ее страдания, связанные с алкоголем, ее восторженная любовь к детям и собакам — во всем этом заключалось столько боли о том, что не сбылось и не может сбыться. И эта боль приводила его в умиление. Может быть, умиление — это облегченный вариант любви? Возможно. Если любовь — это всё. Для него это было не всё.

С пуфа он вставал непримиренным. Он никогда не переставал желать другого, большего. Но он был человеком спокойным. Так уж сложилось. Он шел в гостиную, садился на диван и читал новинки. Этот неиссякаемый поток новых книг и сделал его книго-торговцем.

Но в этот вечер в спальне ее не оказалось. Он вышел в прихожую, поднялся по лестнице в бывшую комнату для прислуги, располагавшуюся над кухней. Она была тесной и низкой, крохотные окна выходили во двор, но Биргит нравилась эта теснота, нравились две двери — одна внизу, другая наверху, — и она устроила себе в этой каморке кабинет. Он постучал. Биргит не любила, когда ее беспокоили, особенно неожиданными визитами. Не дождавшись ответа, он открыл дверь. На письменном столе царил образцовый порядок. Слева высилась стопка бумаги, справа лежала авторучка, которую он подарил ей много лет назад. На стене у окна висела записка, написанная ее почерком. Он знал, что не должен ее читать. «Ты получил...» Он не стал читать дальше.

Биргит лежала в ванне, голова ее была под водой, волосы свисали с края ванны. Он приподнял ее голову. Вода давно остыла. Судя по всему, она лежала здесь уже несколько часов. Он вытащил ее из воды настолько, чтобы положить голову на край ванны. В современной ванне она не смогла бы так глубоко погрузиться в воду. Почему они не завели себе совре-

менную ванну? Им обоим нравилась эта глубокая длинная ванна в стиле модерн, они часто вместе лежали в ней и не пожалели денег на ее ремонт.

Он стоял и смотрел на нее. На ее груди — левая была чуть больше правой, — на ее живот со шрамом, на вытянутые руки и ноги, на ладони, словно парившие в воздухе над дном ванны. Он вспомнил, как она несколько раз собиралась сделать пластическую операцию и уменьшить левую грудь, но так и не собралась, вспомнил, как испугался, когда ее увезли в больницу с острым аппендицитом, как она играла на рояле своими длинными пальцами. Он смотрел на нее и понимал, что она мертва. Но у него было такое чувство, что он потом расскажет ей обо всем этом, — о том, как увидел ее мертвой, лежащей в ванне. Словно она умерла не навсегда, ненадолго.

Ему следовало вызвать «скорую помощь». Но спастись было уже некого, так что он мог не торопиться. К тому же он терпеть не мог шума и суеты; ему стало не по себе при мысли о машине «скорой помощи», въезжающей во двор с мигалкой и сиреной, о санитарах с носилками, полицейских, пристающих к нему со своими вопросами, криминалистов со своей дактилоскопией, любопытного домоправителя. Он сел на край ванны. Хорошо, что глаза у Биргит закрыты. Он представил себе, как она смотрит на него застывшим, пустым взглядом, и поежился. Если бы она умерла от инфаркта или апоплексического удара, они были бы открыты. Но она уснула. Просто уснула? Просто слишком много выпила? Или вдобавок к алкоголю что-то приняла? Он встал, подошел к ап-

течке; не найдя в ней пачки валиума, которая там обычно лежала, нажал ногой на педаль мусорного ведра и увидел на дне пустую коробку и выпотрошенную алюминиевую фольгу. Сколько же таблеток она приняла? Может, она просто никак не могла уснуть? А может, не хотела больше просыпаться? Он снова сел на край ванны. Чего же ты хотела, Биргит?..

Он уже много лет с тревогой наблюдал за ее депрессиями. Несколько раз пытался отправить ее к психотерапевту или психиатру. У него были друзья-врачи, которые могли бы ей помочь. Но она не хотела никакой помощи. Это вовсе не депрессии, говорила она, никаких депрессий вообще нет, есть люди с меланхолическим темпераментом, и это как раз ее случай. Она не хочет, чтобы ее с помощью таблеток превращали в другого человека. А то, что каждый может и должен быть уравновешенным и уверенным в себе, — это новомодная чушь. Она и в самом деле даже в обычном состоянии была задумчивей, серьезней и печальней других. С юмором у нее все было в порядке, ее вполне могла развеселить какая-нибудь курьезная ситуация или шутка. Но ей чужда была та игривая легкость, то иронично-надменное выражение, с которым друзья или коллеги обсуждали книги и фильмы, говорили об общественной жизни или политике. Еще более чуждым было ей то, что политики и художники не принимали всерьез сами себя и то, чем они занимались, а довольствовались тем, что их деятельность была объектом внимания, не важно какого — восторженного, удивленного или возмущенного. Все серьезное она принимала всерьез. Только

потом, после падения Берлинской стены, когда он поближе познакомился с книготорговцами из Восточного Берлина и Бранденбурга, он понял, что в этом Биргит была дочерью, плотью от плоти ГДР, пролетарского мира, которая пыталась сочетать буржуазность с прусским социалистическим энтузиазмом и всерьез относилась к культуре и политике, как когда-то буржуазия, со временем утратившая этот навык. С тех пор он смотрел на нее другими глазами, с уважением и с печалью о том, что имел, но потерял *его* мир.

Нет, это не меланхолия довела ее до самоубийства. Меланхолия и красное вино лишь наполнили ее члены усталостью, погрузили ее в полусон. И она не захотела ждать, когда наступит сон, решила поторопить его. И он пришел и убил ее. Куда тебе было торопиться, Биргит? Но он хорошо знал ее болезненную нетерпеливость. Именно эта нетерпеливость и не давала ей спокойно снять туфли, положить в холодильник продукты, вымыть посуду, приготовить ужин, разобраться с выстиранным бельем. Смерть от нетерпения...

Он рассмеялся, пытаясь проглотить комок в горле. Потом встал и позвонил в «скорую помощь». Затем вызвал полицию. Зачем ждать, что это сделает врач «скорой помощи»? Ему хотелось покончить с этим как можно скорее.

Все это продлилось два часа. Сначала приехала и уехала «скорая помощь». Потом была полиция, двое в штатском и двое в форме. Они осмотрели «место происшествия» на предмет следов преступления. Он рассказал им, как обнаружил Биргит, объяснил, почему вымыл бокал, из которого она пила, показал коробку из-под валиума и алюминиевую фольгу в мусорном ведре, долго смотрел, как они ищут прощальное письмо. Вызванные ими работники фирмы ритуальных услуг погрузили Биргит в мешок для перевозки трупов и повезли в отдел судебно-медицинской экспертизы. Потом его спрашивали, когда он обнаружил Биргит и что делал днем и вечером. Когда он рассказал, что до девяти часов находился в книжном магазине и это могут подтвердить его сотрудницы и клиенты, полицейские сменили тон и стали приветливей. Вежливо попросив его зайти завтра в управление, они ушли. Он закрыл за ними дверь и навесил цепочку. Ни спать, ни читать, ни слушать музыку он не мог. Его душили слезы. Он выложил на стол в кухне сухое белье и принялся загружать в сушилку выстиранное. Когда ему в руки попала лю-

бимая футболка Биргит, он почувствовал, что и это занятие ему сейчас не по силам.

Поднявшись по лестнице в кабинет Биргит, он сел за письменный стол. Только теперь он прочел до конца висевшую на стене записку: «Ты получил то, что тебе дал суровый Бог». Чьи это слова? Почему Биргит их записала? О чем они должны были напоминать ей? Он придвинул к себе стопку бумаги, которая оказалась рукописью. Имя автора на первой странице было ему знакомо. С этой женщиной Биргит ходила в одно литературное объединение. Но ему хотелось прочесть что-нибудь написанное самой Биргит. Он стал один за другим открывать ящики стола. В верхнем лежали чистая писчая бумага, ручки и карандаши, ластики, точилки, скрепки и прозрачная клейкая лента, в двух нижних — папки с разрозненными машинописными текстами, иногда всего несколько строк, иногда целые абзацы, записки, написанные почерком Биргит, письма, вырезки из газет, ксерокопии, фотографии брошюры. Папки не были надписаны, и их содержимое, судя по всему, имело случайный характер. Но он знал Биргит; это был лишь кажущийся хаос, и в папках хранились какие-то формулировки, понятия, фрагменты отдельных глав. Однако он не мог сосредоточиться и разглядеть какой-то порядок.

Среди папок лежала открытка с репродукцией «Шоколадницы» Жана Этьена Лиотара из Дрезденской картинной галереи. Он перевернул ее — почтовая марка ГДР, но адрес отправителя не указан. «Дорогая Биргит, я недавно ее видела. Веселая девочка.

Похожа на тебя. Твоя Паула». Он еще раз внимательно всмотрелся в лицо «Шоколадницы». Никакого сходства с Биргит. Внимательный взгляд? Пожалуй. Биргит тоже иногда так смотрела. Но этот остренький носик и этот ротик... Нет. Да и никакой особой веселости у этой шоколадницы не наблюдается.

Он подумал, что в квартире не висит ни одной фотографии Биргит, и на его письменном столе в магазине тоже нет ее снимка. У многих друзей дома имеется целая галерея фото в серебряных и черных рамках — свадьбы, каникулы, загородные поездки, родители, дети. У них с Биргит детей не было. А на своей более чем скромной свадьбе в 1969 году, за которую им было немного стыдно, потому что друзья считали это уже устаревшим и немодным ритуалом, они не фотографировались. Он достал из кармана брюк кошелек и удостоверился, что лежавшее в нем маленькое фото Биргит, сделанное для паспорта, которое он носил с собой уже много лет, по-прежнему там, рядом с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации машины. Надо будет его переснять и увеличить.

Он так и не нашел в столе Биргит того, что искал. Ни в одном из ящичков не было рукописи. В нижнем лежала бутылка водки, и он стал пить из нее, продолжая поиски в книжном шкафу. Уснул он уже под утро, когда стало светать. Вскоре его разбудил щебет птиц. Несколько секунд он не мог понять, где находится. Не сразу вспомнил он и о том, что произошло. Наконец в голове у него прояснилось, и он только теперь смог заплакать.

Прошли недели, прежде чем он вновь перешагнул порог комнаты Биргит. Он не мог заставить себя убрать из квартиры ее вещи, ее пальто и платья из шкафов, белье из комода, расчески, флаконы и тюбики с туалетного столика и из шкафчика над раковиной в ванной, зубную щетку из стакана. Он не открывал дверцы, за которыми находились ее вещи, и не решался войти в ее кабинет. Ему трудно было представить себе, как это можно — как он видел в каком-то фильме — зарыться лицом в платья умершей жены и вдыхать ее запах, смотреть на ее вещи, прикасаться к ним, нюхать их. Это было выше его сил. Ему хватало той боли, которую он испытывал, глядя на все, что имело отношение к Биргит, на тот маленький мир, в котором она еще недавно жила и из которого навсегда исчезла. Он испытывал эту боль в квартире, в книжном магазине и даже подумывал о том, чтобы расстаться и с тем и с другим. Но поскольку боль не покидала его и на улице, он сомневался, что сможет начать все сначала на новом месте. Биргит будет всюду мучить его своим незримым присутствием и остро ощущаемым отсутствием, куда бы он ни сбежал.

И тут он получил письмо от баденского издательства. Автор письма, директор издательства Клаус Эттлинг, представился другом Биргит и сообщил, что давно состоит с ней в переписке по поводу ее работы. Те немногие тексты Биргит, что ему довелось прочесть, не оставляют сомнения в ее таланте, и он часто говорил с ней о ее рукописях, в частности о ее романе. Выразив свою скорбь и свои соболезнования, он поинтересовался судьбой рукописи Биргит, законченной или незаконченной. Незаконченные книги, как и незаконченные симфонии, нередко оказываются образцом совершенства и вполне достойными внимания публики.

Он знал это маленькое, но солидное издательство, выпускающее хорошие книги, которые он охотно продавал у себя в магазине, недоумевая при этом по поводу их рентабельности для издателя. Директора издательства он никогда не видел. Интересно, как и когда тот познакомился с Биргит?

Он вопросительно посмотрел на ее портрет. Она ответила ему неопределенным взглядом. Это фото даже в увеличенном виде осталось всего лишь снимком для паспорта. Но у нее здесь волосы были заколоты на затылке, как он любил, а лицо полнее, чем в последние годы, более женственное, мягкое; уголки губ чуть приподняты, как бы предворяя улыбку, а карие глаза — видимо, от вспышки — выражали удивление, не испуганное, а радостное, словно от неожиданной приятной встречи. Что за тексты ты ему посылала, Биргит? И о каких рукописях вы с ним говорили?